

*А.В. Марков (Москва)***ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА В РУССКОМ
ГУМБОЛЬДТИАНСТВЕ И АНТИНОМИЧНОСТЬ
В АРГУМЕНТАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ¹****Аннотация**

Учение А.А. Потебни восходит к фундаментальной антиномии эр-гон / энергия В. фон Гумбольдта, однако, как отмечал Г.Г. Шпет, последователи Гумбольдта, включая самого Потебню, редуцировали его философию языка к психологизму, сводя сложные языковые процессы к наблюдаемым явлениям психической жизни. В.В. Биbihин предложил принципиально иную интерпретацию учения Потебни, увидев в нем не просто психологизацию языка, а разработанную энергийную теорию отражения. Однако последующее развитие школы Потебни пошло по иному пути. Ученики, такие как Д.Н. Овсяннико-Куликовский, сместили акцент с продуктивной антиномии данности / заданности на жесткое противопоставление поэтического (образного) и лирического (аффективного). Это привело к существенному сужению концепции: поэтическое стало сводиться к работе образов, а лирическое – к аффективному воздействию ритма и настроения. Примечательно, что такое переосмысление неожиданно сблизило идеи потебнианцев с позднейшими постструктуралистскими концепциями, в частности с риторическим поворотом Б. Кассен, где язык рассматривается как инструмент социальной коммуникации и власти. Стремясь сохранить и развить учение учителя, ученики фактически создали новую концепцию, в которой акцент сместился с исследования языковой энергии на анализ социально успешных форм творчества. Этот процесс демонстрирует, как верность традиции может обернуться ее радикальным переосмыслением, а также показывает неожиданные параллели между русской филологической мыслью начала XX в. и западной теорией второй половины столетия.

Ключевые слова

Потебня; Гумбольдт; Шпет; Биbihин; Овсяннико-Куликовский; внутренняя форма; антиномия; поэтическое; лирическое; деконструкция; риторический поворот; энергия языка.

¹Исследование выполнено в ИМЛИ имени А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда № 24–18–00248, <https://rscf.ru/project/24-18-00248/>.

A.V. Markov (Moscow)

THE INNER FORM OF THE WORD IN RUSSIAN HUMBOLDTIANISM AND THE ANTINOMICAL NATURE OF ARGUMENTATIVE STRATEGIES IN CONTINENTAL PHILOSOPHY¹

Abstract

The school of A.A. Potebnya originated from W. von Humboldt's fundamental antinomy of *ergon* / *energeia*, though, as G.G. Shpet noted, Humboldt's followers, including Potebnya himself, reduced his philosophy of language to psychologism, simplifying complex linguistic processes to observable phenomena of mental life. V.V. Bibikhin proposed a fundamentally different interpretation of Potebnya's doctrine, seeing in it not merely a psychologization of language but a developed energetic theory of reflection. However, the subsequent development of Potebnya's school took a different path. Disciples such as D.N. Ovsyaniko-Kulikovsky shifted the focus from the productive antinomy of givenness / assignedness to a rigid opposition between the poetic (imagistic) and the lyrical (affective). This led to a significant narrowing of the concept: the poetic was reduced to the work of images, while the lyrical was limited to the affective impact of rhythm and mood. Remarkably, this reinterpretation unexpectedly brought the ideas of Potebnya's followers closer to later poststructuralist concepts, particularly to B. Cassin's rhetorical turn, where language is viewed as an instrument of social communication and power. While striving to preserve and develop the teacher's doctrine, the disciples essentially created a new concept that shifted the emphasis from studying linguistic energy to analyzing socially successful forms of creativity. This process demonstrates how loyalty to tradition can turn into its radical reinterpretation, while also revealing unexpected parallels between early 20th century Russian philological thought and Western theory of the second half of the century.

Key words

Potebnya; Humboldt; Shpet; Bibikhin; Ovsyaniko-Kulikovsky; inner form; antinomy; the poetic; the lyrical; deconstruction; rhetorical turn; energy of language.

Школа А.А. Потебни – школа различения фигур, тропов, способов означивания и других явлений, которые можно отнести с равным успехом к домену лингвистики или домену поэтики. Конечно, это связано прежде всего с тем, что в исходном для школы Потебни учении В. фон Гумбольдта антиномия *эргон* и *энергии* была главным способом описания и человеческой деятельности, и эффектов языка. Как заметил еще Г.Г. Шпет, последователи Гумбольдта, во главе с Хейманом Штейнталем, не удержались на высоте его мысли, желая сам язык «гнуть силою к земле и загонять в психологическую конуру» [Шпет 1927, 35], то есть сводить язык к наблюдаемым явлениям психической жизни. Здесь же Шпет замечает:

Если, поэтому, у Гумбольдта встречается употребление термина в смысле вещи или психо[т]ического процес<с>а, это – не противоречие, а только употребление термина в ином, не основном намерении

¹The work was done at A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences with the support of the grant of the Russian Science Foundation (RSF, project no. 24-18-00248, <https://rscf.ru/project/24-18-00248/>).

гумбольдтовой философии языка, употребление его в ином плане [Шпет 1927, 35].

Потебнианство для Шпета поэтому было отчасти штейнтелианством – далее Шпет упрекает потебнианцев, не называя их, в том, что «чрезмерное давление эмпирии и психологии» [Шпет 1927, 46] заставляет их выделять образы, а не конститутивные тропы и алгоритмы. Тогда как внутренняя форма есть «пластическая сила конкретного языкового тела» [Шпет 1927, 46], то есть внепсихологическое действие силы, ищущей воплотить себя в смысле. Для Потебни такое действие силы явно не было безальтернативным; по замечанию В.В. Библихина, давшего наиболее тонкий анализ труда Потебни «Мысль и язык», Потебня в конце концов признает не только «внутреннюю форму», но и «содержание» слова [Библихин 2008, 142]. Благодаря этому, Потебня может обеспечивать синтез образа и самой вещи, принимая образ как вещь, и тем самым в слове отражая целостное понятие, восстанавливающее целый мир:

Там, в серьезной игре в слово-вещь, ему уютно, как больше нигде. Там слово надежно сбережет ненарушенный мир, спасет человека, потому что прогонит раздвоенность, став тем же, что вещь. Метания кончились; мы в целом нераздвоенном мире; только теперь, спасшись от раздора, мы понимаем, что наделал с миром язык, как его расколол, как заставил теряться, не зная где суть – истина, – в вещах или в словах. Тот спор был бы вечный, мы из него не выбрались бы ввек. Теперь выбрались благодаря ребенку и первобытной вере: слова – это сами вещи, вещи продолжают в словах, как солнце продолжается в своих лучах [Библихин 2008, 138].

То, что для Шпета было психологизмом Потебни, для Библихина оказывается системой принятия и производства, Потебня с самого начала помещает себя как бы внутрь самой энергии языка. Образ – это только способ применения энергии, и признание и определенное принятие *образности* не противоречит *конструктивизму*, только конструировать надо путем отражений, активно-го отражения понятий вещью, а не путем легитимации конструкторов.

Круг замыкается: внутренняя форма поэтична, внутреннюю форму спасает поэтическое творчество. Чтобы символическое зерно, миф, свернутый как пружинка внутри слова, развернулся, нужна с самого начала и до конца творческая хватка [Библихин 2008, 147].

Библихин явно создает активную (энергетическую) теорию отражения, чему посвящена и его отдельная книга [Библихин 2010]. Таким образом, антиномия образа и конструкции оказывается мнимой, а по-настоящему продуктивна антиномия данности и заданности, на которой и строится поэтика творческих решений.

Как показал Библихин, Потебня различает поэтическое творчество и отдельные факты поэзии. Поэтическое оказывается принципом образотворчества и за пределами поэзии. В книге «Мысль и язык» важнейшая сквозная мысль, которую иногда не замечают – это то, что психологическая ассоциативность является не индивидуальным, а социальным опытом. Гумбольдтовская энергия всегда уже с кем-то разделена. Данность образа является моментом

заданности такого социального разделения опыта, и продуктивная антиномия данности и заданности и образует особую поэтику, в которой человек сам открывает неизвестные ему прежде свои или чужие душевные движения. Тогда даже самопознание есть социальный и овнешненный опыт:

В создании слова должно повториться то, что происходит с нами на высших степенях развития: не в уединении, а в обществе мы привлекаем смотреть за собою; поэтическое произведение открывает нам до того неизвестные стороны нашей собственной души, а не сами собою они нам уясняются: вообще внешнее наблюдение предшествует внутреннему [Потебня 1989, 95].

Заметим, что Гумбольдт, которого здесь цитирует Потебня, ничего не говорил о такой поэтике морально и социально значимого наблюдения. Для него социальное функционирование языка есть тестирование моего собственного понимания слова: только сказав другому что-то, ты это понял – и это как раз соответствует шпетовской критике потебнианства как пренебрегающего тестированием речевых ситуаций в пользу образа. Для него существует вопрос о социальной легитимности речи, а не о социальном задании.

Замечательно, что Шпет не обращается в своей книге к самой мысли Гумбольдта, но воссоздает ее от противного, желая подвести черту под потебнианской версией психологизма. Если Потебня цитирует Гумбольдта корректно, «и человек понимает себя, только испытавши на другом понятность своих слов» [Потебня 1989, 95], при этом придавая этому испытанию измерение социального задания, – то Шпет заменяет испытание удостоверением, давая пересказ без ссылки: «Но в действительности человек понимает и себя, лишь удостоверившись в том, что его понимают другие, и потому язык развивается только в обществе» [Шпет 1927, 16]. Шпет сводит антиномию данности и заданности к антиномии первичного образа (понимания) и первичной конструкции (удостоверения), разрешаемой поэтикой развития, постоянного прогресса языка и искусства, которое для Шпета скорее нормативно, чем экспериментально (авангардистов-экспериментаторов, как мы помним, он бранил).

Ученики Потебни произвели важное смещение в первичной антиномии своего учителя. *Поэтическое* стало противопоставляться не столько игровой начальной ситуации социализации, которую отметил Биbihин в наследии Потебни, сколько *лирическому*. Ученики пытались быть верны учителю – если в любом тексте есть образ, а значит, поэзия, лучше обособить лирику как некоторое конструирование опыта, как нечто, напрямую связанное с *внутренними условиями поступка*, а не с функционированием поступков и отражением их в текстах. Именно лирическое тогда создает эмоциональную социализацию, некоторый начальный ритм, начальную игру, а образ как таковой оказывается просто путем к социальному успеху. Это не первобытная игра Потебни и Биbihина, в которой слово счастливо совпадает с вещью, это азартная эмоциональная игра, в которой забываешь о себе и о других, нечто вроде самозабвенного пения, которое заставляет других признать тебя носителем смысла. Как это часто бывает в культуре, верность и оказывается изменой – пытаюсь сохранить всю эстетику Потебни, последователи утрачивают самое свое в Потебне, собственную постановку вопроса.

Так, Овсяннико-Куликовский постоянно противопоставляет поэтический образ (пластику) и словесный лиризм (музыкальный порыв и ритм). Лири-

ку Овсяннико-Куликовский описывает по Канту, различая прекрасный однообразный ритм и возвышенный разнообразный ритм. В конце концов, лирика может обходиться и без образов, одними представлениями душевных переживаний (медитативная лирика не имеет образов). Поэтому Овсяннико-Куликовский настаивает на том, что «лирическая эмоция» появляется там, где хотя бы потенциально, в отдельных лирических жанрах, появляется возможность обойтись без образов: «Процесс восприятия лирики не есть процесс умственный» [Овсяннико-Куликовский 1917, 17]. Там же Овсяннико-Куликовский называет определяющей лирическую эмоцию как аффект от ритма и настроения, когда «слитых в единое, неразложимое, компактное целое». Он говорит, что лирическое чувство, произошедшее от слов, ритмов, движений – «чувство очарования, упоения, восхищения, восторга» [Овсяннико-Куликовский 1917, 17], то есть настроений, которые не связаны с целеполаганием, но которые и есть этот лирический играющий ритм индивидуальной экзальтации, предшествующий социально успешным и гарантирующим социальный успех образам.

Овсяннико-Куликовский строго различает поэтическое начало, связанное с работой образов, и лирическое начало, имеющее в виду смену настроений. Он прямо говорит, что если поэтическое имеет в виду образность и в этом смысле может быть усилено образами, то лирическое усиливается декламацией или пением [Овсяннико-Куликовский 1917, 20]. Вопреки вражде поэтов, от Блока до Мандельштама, к чтецам-декламаторам, он видит в них как раз лиризм, дополняющий поэтический опыт. Он допускает, что и пересказ лирической прозой может в некоторых случаях усиливать тот самый лиризм – что тоже не признал бы никто из поэтов-современников, строивших прозу поэта вовсе не как усиление лирической эмоциональности собственного творчества, но скорее как взятие этой лирической эмоциональности в круг уже понятных читателю образов – это было конструирование читателя, а не подкуп его образами. Таким образом, для Овсяннико-Куликовского лирика становилась некоторым песенным началом, индивидуально применяемым, но аффективно прямолинейным: лирика всякого застает врасплох, и любые неожиданности и инновации в поэзии в широком смысле обязаны лирической экзальтации.

При этом для него не только образность, но и песенность как лиричность самозабвения должна быть в хорошей прозе. Поэтому Овсяннико-Куликовский не включает в канон Достоевского: он отсутствует среди авторов новейшего эпоса [Овсяннико-Куликовский 1917, 24], появляется как романтический прозаик в одном списке со Златовратским [Овсяннико-Куликовский 1917, 38], и наконец, отмахивается: «Не блещет красотами и слог Достоевского» [Овсяннико-Куликовский 1917, 137]. Действительно, Достоевского можно считать кем угодно, но не песенным автором. Итак, согласно Овсяннико-Куликовскому лирическое должно быть в любом поэтическом (образном) произведении, если в нем есть рассмотрение внутренней жизни. У Достоевского есть рассмотрение внутренней жизни, но лиричности нет – значит, он плохой писатель, «романтический» или «сентиментальный» – что означает умение рассматривать внутреннюю жизнь, не соблюдая законов лирики, а только доверяя аффектам внутренней жизни.

Овсяннико-Куликовский превращает слово «внутренняя форма» в общий принцип эстетической реконструкции текстов: «например, если эпос состоит из одних диалогов прямых или косвенных, то будет обманчивая эпическая внешняя форма, и драматическая внутренняя форма» [Овсяннико-Куликовский 1917, 22]. Таким образом, возможна и лирическая внутренняя форма, и здесь

уже почти шаг до тыняновского «лирического героя». Другое дело, что для Тынянова герой – это определенная конструкция, которая и позволяет вызывать лирические аффекты у читателя, будучи сама равнодействующей некоторых поэтических техник и приемов. Лирический герой, по Тынянову – фантазмный герой, «постулированный образ» [Тынянов 1977, 438], тема фантазмов дальше Тынянова и занимала. Тогда как Овсяннико-Куликовский трактует героя не с точки зрения противопоставления правды и фантазма / фантазма, но с точки зрения полной принадлежности действий героя одному из родов литературы, вне зависимости от того, какая образность обслуживает и обеспечивает героя. В данном случае Овсяннико-Куликовский как раз настаивает на понимании фантазма как инструмента тотальной эпизации, лиризации или драматизации судьбы человека или литературного героя как внутренней формы социальной жизни, чем он предвосхищает сходный ход в континентальной французской теории. Как показывает словарная статья PHANTASIA в «Европейском словаре философий» [Cassin 2004], традиция французской деконструкции сводит фантазм / фантазм к репрезентации неизвестного субъекта, то есть видит в нем внутреннюю форму самой репрезентации, «вещь, как мы ее видим», понимая при этом, что она может быть не такой, как мы ее видим («у страха глаза велики»). То есть рациональность деконструкции сводит социальную коммуникацию к рационально разделяемому несогласию с некоторыми фантазмами, что отличается от позиции Овсяннико-Куликовского только тем, что распространяется под влиянием психоанализа не только на литературный опыт, но и на опыт любых других искусств.

Овсяннико-Куликовский в том же духе аффективности лирики сужает значение пластики до понятия: «поэтическое оттенение черт» [Овсяннико-Куликовский 1917, 58]: то есть пластику уже может описать только через рельефность! Это напрямую следует из понимания поэтического как образного, где пластика, то есть индивидуальная фантазия, есть просто изобретение вспомогательных образов. Антиномия индивидуального и социального в понимании пластики также предвосхищает французскую теорию, в статье PLASMA / FICTIO [Cassin 2004] пластика также трактуется как вымысел, обеспечивающий социальное измерение риторики. Где у Потебни была, по сути, антиномия данности и заданности, как продуктивная для любого творчества, где можно ускорить работу с образами ради новых понятий, там остается только творческий успех, антиномия индивидуального и социального, продуктивная только для того творчества, которое социально успешно.

Черты пластики оказываются «схематические, символические и типичные» [Овсяннико-Куликовский 1917, 88] – триада прилагательных напоминают сразу три вида знака по Пирсу – но заметим, что это оттеняющие черты. То есть пластика у него – схема контраста, позволяющая выделить лицо, то есть схему индивидуализирующих аффектов, тогда как все типичное оказывается социально значимым. Опять мы видим отличие школы Потебни от Потебни, Шпета и формалистов с их культом приема и неожиданная близость постструктурализму, где схема, символ, образ и прочее трактуются прежде всего как принадлежность риторики, яркого и успешного ораторского выступления, как это показывает риторический поворот Б. Кассен и многочисленные статьи, такие как IMAGE, SYMBOL и другие в «Словаре» [Cassin 2004].

Наконец, самое поразительное, что Овсяннико-Куликовский использует слово «Синоним» в смысле соименных лиц – для него есть синонимия Бобчинский и Добчинский [Овсяннико-Куликовский 1917, 79]. Здесь он порывает с

обычной школьной традицией, что синоним это не про вещи, а про слова, но совпадает с античной риторикой и аристотелианской критикой риторики. Как показала статья SYNONYM в словаре Кассен [Cassin 2004], античные грамматики понимали именно так синоним, как двух лиц с одним именем, которые могут друг друга заменять. Это было своеобразное античное «имяславие». Так сужение антиномизма в школе Потевни способствовало предвосхищению деконструкции.

Потевнианцы могли идти еще далее, превращая антиномию поэтического и лирического в антиномию мышления и публичной речи. Здесь они не разошлись с Овсяннико-Куликовским, просто были откровеннее. Так, В. Харциев утверждал в эпоху письменности народное из живого творчества становится материалом для использования. Кто использует этот материал, тот и гений. Ю.С. Моркина выводит позицию Харциева [Моркина 2019а, 162] по сути из оружейной теории создания языка и цивилизации. Первоначальное мышление метонимично, оно проецирует в язык метонимическое отношение между телом и инструментом, инструмент как продолжение тела. Мифология поэтому прозаична и метонимична, она заменяет комплекс восприятия звуковым образом как инструментом. Речь заменяет образное представление, пластически как бы соразмерное самой вещи. Тогда как *поэтичность*, по сути, *лирическое* начало, трансформирует мысль радикально. Если мифология понимает солнце как колесо, то она требует, по законам метонимии, колесу ось и спицы, то есть функционал, понимание которого выстраивается метонимически. Тогда как в поэзии солнце как колесо будет просто колесом, общим нерасчлененным образом, действующим на воображение [Моркина 2019а, 163]. Это уже близко яacobсоновскому пониманию метафоры и метонимии, но также и общему положению во французской теории, что метафора представляет собой основную фигуру речи оратора, которая автореферентна, которая показывает могущество слова, которое кажется ничем, колебанием звука – для этого и нужна некоторая нерасчлененность воображения в метафоре [Cassin 2004].

Конечно, такое разделение мифопоэтического (метонимического) и лирического (метафорического) обязано определенным философским амбициям потевнианской школы. Среди философских амбиций всегда первенствует амбиция точности. По Б.А. Лезину, еще одному харьковскому потевнианцу, языкознание по сравнению с математикой является более фундаментальной наукой. Это наука о способах сбережения психической энергии, в том числе, и при математическом теоретизировании. Таким образом, можно представить поэзию-прозу как сбережение энергии, которое достигается метонимией, экономной, тогда как поэзию-лирику – как разрядку психической энергии [Моркина 2019а, 165]. Моркина не вполне точна, что в этой традиции лирическое чувство здесь приравнивается к вдохновению [Моркина 2019b, 255] – скорее, это своеобразное учение о стимулах, которые можно воспроизводить, что соответствует тогдашней психологии (как действительно, по замечанию Моркиной, принадлежащей эмпириокритицизму, так и позитивизму вообще) с ее понятием о воспроизводимых действиях, например, трудовых, которые и обеспечивают правильное накопление и разрядку энергии.

Ю.С. Моркина пытается в конце концов сама стать неопотевнианцем, восстанавливая антиномию данности и заданности, но сводя ее к научной данности и к научному заданию, сужая до эпистемологии. Моркина настаивает на том, что поэзия – это форма мемуара, воспоминания, научного отчета, говоря, что поэта, как и ученого-теоретика, ведет «[э]кзистенциальное чувство», тре-

буя справиться «со сложной задачей» [Моркина 2020, 66]. Моркина поясняет, опираясь как раз на потебнианскую традицию, что стихотворение после прочтения «начинает подвергаться дальнейшей рефлексии» [Моркина 2020, 71], и что этот процесс идет всю жизнь. Если человек и забывает на уровне сознания прочитанное стихотворение, то сама принципиальная открытость и незавершенность формы продолжает действовать в читателе до самой смерти. Понятно, что это утверждение невозможно верифицировать достаточным числом экспериментов, но оно вполне соединяет постструктуралистский тезис об открытом произведении (Эко) и потебнианское представление о том, что внутренние конструкции смысла в поэзии энергетические, принадлежат «энергии» в смысле Гумбольдта и потому не могут быть до конца формализованы, а значит, прекратить свое действие. Это противоречит опыту всей модернистской поэзии, как раз настаивающей на том, что читатель может исчезнуть (от Блока до Мандельштама), но соответствует потебнианству, если его понимать как учение о социальном задании, которое мы выполняем всю жизнь. Да и французской теории тоже, если она настаивает на том, что единожды став существом политическим, риторическим, культурным, человек уже не сможет перестать им быть.

Центральная антиномия эргон / энергия, унаследованная от Гумбольдта, в интерпретации Потебни трансформировалась в антиномию данности / заданности языковой формы, где образ одновременно и дан как психический факт, и задан как социальный конструкт. Последователи Потебни, сохраняя формальную приверженность этой антиномии, фактически выхолостили ее диалектическую природу, сведя к упрощенной антиномии поэтического и лирического. Однако именно эта редукция неожиданно обнажила другую, более фундаментальную антиномию – между индивидуальным творческим актом и его социальной рецепцией, предвосхитившую социальную ангажированность французской теории. Таким образом, история школы Потебни демонстрирует, как продуктивная антиномия, будучи механически воспроизводимой, может порождать неожиданные теоретические конфигурации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. СПб.: Наука, 2008. 420 с.
2. Бибихин В.В. Энергия. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. 488 с.
3. Моркина Ю.С. Лирика и экзистенция в научном и поэтическом познании // Философские науки. 2020. № 63 (3). С. 56–74.
4. (а) Моркина Ю.С. Язык и поэтика: анализ концепций последователей А.А. Потебни. Часть I: А.А. Потебня, В. Харциев, Б.А. Лезин // *Filosofiya osvity. Philosophy of Education*. 2019. № 1. Т. 24. С. 154–173.
5. (b) Моркина Ю.С. Язык и поэтика: анализ концепций последователей А.А. Потебни. Часть II: Д.Н. Овсяннико-Куликовский, А. Горнфельд, Т. Райнов, П. Энгельмейер // *Filosofiya osvity. Philosophy of Education*. 2019. № 2. Т. 25. С. 251–272.
6. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Теория поэзии и прозы. 4-е изд. Пг.: Типография «Научное дело», 1917. 154 с.
7. Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 17–199.
8. Тынянов Ю.Н. Блок // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 118–123.
9. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: этюды и вариации на темы Гумбольдта. М.: ГАХН, 1927. 220 с.

10. Cassin B. (Dir.). *Vocabulaire européen des philosophies: Dictionnaire des intraduisibles*. Paris: Seuil, 2004. 1532 p.

REFERENCES (Articles from Scientific Journals)

1. Morkina Yu.S. *Lirika i ekzistentsiya v nauchnom i poeticheskom poznanii* [Lyric and Existence in Scientific and Poetic Cognition]. *Filosofskiy nauki*, 2020, no. 3, vol. 63, pp. 56–74. (In Russian).

2. (a) Morkina Yu.S. *Yazyk i poetika: analiz kontseptsiy posledovateley A.A. Potebni*. Chast I: A.A. Potebnya, V. Khartsiev, B.A. Lezin [Language and Poetics: Analysis of Concepts of A.A. Potebnya's Followers. Part I: A.A. Potebnya, V. Khartsiev, B.A. Lezin]. *Filosofiya osvity. Philosophy of Education*, 2019, no. 1, vol. 24, pp. 154–173. (In English).

3. (b) Morkina Yu.S. *Yazyk i poetika: analiz kontseptsiy posledovateley A.A. Potebni*. Chast II: D.N. Ovsyaniko-Kulikovskiy, A. Gornfeld, T. Raynov, P. Engelmeier [Language and Poetics: Analysis of Concepts of A.A. Potebnya's Followers. Part II: D.N. Ovsyaniko-Kulikovskiy, A. Gornfeld, T. Raynov, P. Engelmeier]. *Filosofiya osvity. Philosophy of Education*, 2019, no. 2, vol. 25, pp. 251–272 (In Russian).

(Articles from Collections of Research Papers)

4. Potebnya A.A. *Mysl i yazyk* [Thought and Language]. Potebnya A.A. *Slovo i mif* [Word and Myth]. Moscow, Pravda Publ., 1989, pp. 17–199. (In Russian).

5. Tynyanov Yu.N. *Blok* [About Blok]. Tynyanov Yu.N. *Poetika. Istoriya literatury. Kino* [Poetics. History of Literature. Cinema]. Moscow, Nauka Publ., 1977, pp. 118–123. (In Russian).

(Monographs)

6. Bibikhin V.V. *Energiya* [Energy]. Moscow, St. Thomas Institute of Philosophy, Theology and History Publ., 2010. 488 p. (In Russian).

7. Bibikhin V.V. *Vnutrennyaya forma slova* [The Inner Form of the Word]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2008. 420 p. (In Russian).

8. Cassin B. (Dir.). *Vocabulaire européen des philosophies: Dictionnaire des intraduisibles*. Paris, Seuil, 2004. 1532 p. (In French).

9. Ovsyaniko-Kulikovskiy D.N. *Teoriya poezii i prozy (Teoriya slovesnosti)* [Theory of Poetry and Prose (Theory of Literature)]. 4th ed. Petrograd, Nauchnoye delo Publ., 1917. 180 p. (In Russian).

10. Shpet G.G. *Vnutrennyaya forma slova: etyudy i variatsii na temy Gumbol'ta* [The Inner Form of the Word: Studies and Variations on Humboldt's Themes]. Moscow, State Academy of Art Sciences Publ., 1927. 220 p. (In Russian).

Марков Александр Викторович,

Российский государственный гуманитарный университет; Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН.

Доктор филологических наук, профессор кафедры кино и современного искусства (РГГУ); ведущий научный сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX вв. (ИМЛИ РАН)

Научные интересы: теория литературы и искусства.

E-mail: markovius@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-6874-1073

Alexander V. Markov,

Russian State University for the Humanities; A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences.

Doctor of Philology, Professor at the Department of Cinema and Contemporary Art (RSUH); Head Researcher at the Department of Russian Literature of the End of 19th – 20th Centuries (IWL RAS).

Research interests: theory of literature and art.

E-mail: markovius@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-6874-1073